

НЕКТО В СЕРОМ

*«Жизнь Человека» Леонида Андреева.
(Альманах «Шиповник»), «Иуда Искарот и др.»
Его же. (Сборник «Знания», кн. XVI)*

Успех последних произведений Леонида Андреева представляет знаменательное явление, как свидетельство о состоянии души русского общества в эпоху революционной смуты. Он указывает на точный уровень нравственных и философских запросов большой публики.

Истинные произведения искусства дают душе новую полноту, даже проповедуя пессимизм и отрицание. Главные же особенности произведений Леонида Андреева в том, что они оставляют в душе новое чувство пустоты — точно вынимают из нее нечто.

Описание того мертвящего равнодушия, которым заражал взгляд воскресенного Елеазара (Лазаря), передает состояние читателя, воспринявшего одно из последних произведений Леонида Андреева.

Но он, открыв тайну бесцельности жизни, не остается молчаливым, подобно Елеазару.

Во всех его произведениях слышится особая интонация пророческой исступленности, которая требует от читателя либо полного согласия, либо открытой борьбы. Либо «верую и исповедую!», либо побивание камнями проповедника.

Это настоятельное и личное обращение к читателю особенно подчеркнуто в «Жизни Человека» той безличной формой, которая, называя действующих лиц не именами собственными, а именами нарицательными («Человек», «Жена Человека», «Сын Человека»), говорит читателю: «Так и ты. Так и каждый».

Спорить с художественным произведением нельзя. Истинное художественное произведение вырастает в душе так же органично и бессознательно, как цветок растения. Его можно разбирать, толковать, но нельзя опровергать. Произведения же Леонида Андреева требуют возражений. Их можно и должно оспаривать. Этим они выдают проповедническую сущность, прикрытую формами художественного произведения.

В целом ряде предшествующих произведений Леонида Андреева чувствовалось присутствие некоторой правящей силы, которая до сих пор не была названа. Ей поклонялся и с нею боролся Василий Фивейский, и во имя ее устраивались кровавые гекатомбы в «Красном смехе».

В «Жизни Человека» Леонид Андреев впервые показывает ее лицо и дает ей имя. Это «Некто в сером», называемый «Он».

Герой «Жизни Человека» — «Он», а не «Человек», ибо герой трагедии — воля, а не безвольная и слепая марионетка, нервно выкрикивающая слова протеста.

Характер этого лица намечен намеренно неясно, но оно произносит все ремарки от лица автора и держит в руках все темные нити, управляющие жизнью «Человека», т. е. каждого человека.

Имя «Некто в сером» очевидно псевдоним, так как у такого значительного лица не может не быть многих иных имен, которыми называло его человечество.

Каковы же иные имена этого «Некто»? «Он» говорит «твердым холодным голосом, лишенным волнения и страсти, точно наемный чтец, с суровым безразличием читающий книгу судеб».

Черты знакомы.

«Судьба — это суфлер, читающий пьесу ровным голосом без страсти и без выражения. Свистки, крики, аплодисменты и все прочее производят люди», гласит один из старых афоризмов Людвиг Берне.¹

Но Берне говорит о судьбе народов. Судьба отдельного человека, называется ли она Роком, Фатумом, Ананкэ, Мойрой или Кармой, всегда индивидуальна, прихотлива и всегда заложена в самом человеке. Некто же в сером возвещает только незыблемые каноны жизни Человека — каждого человека:

«Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно схороненный в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем, — он таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит о начале своей короткой жизни. Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет подобен людям, живущим на земле. Их жестокая судьба станет его судьбой, и его жестокая судьба станет судьбою всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу кверху и от верху к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его. Ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий час — минута. И в слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предназначения. . . Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем. И Я, тот, кого все называют Он, останусь верным спутником человека во все дни его жизни; на всех путях его».²

Жизнь человеческая в образе сторающей свечи, которую держит в руках Некто в сером, это символ, родственный современному сознанию и по сказке Андерсена, и по ее первоисточникам,³ и по параллельному образу Бальзака в «Шагреновой коже».

Но и кусок кожи у Бальзака, и свеча жизни народных преданий хранят в своем горении индивидуальности жизни: свеча сторает то быстрее, то медленнее, шагреновая кожа сжимается в то время, как удовлетворяются страсти ее обладателя. Нравоучительный смысл этого символа в том, что каждый по своей воле сжигает свою жизнь.⁴

У Леонида Андреева не так: индивидуальная жизнь человека не имеет никакого влияния на горение свечи. Свеча — это жизнь человека вообще, и ни он сам, ни даже «рыскающие ледяные ветры безграничных просторств» не имеют никакого влияния на ее горение.

Носитель свечи не судьба, а закон, неизменный для всех и притом враждебный каждому индивидуальному человеку.

Некто в сером облачен атрибутами высшей власти и высшей безучастности. Молитвы людей, обращенные к Божеству, на самом деле адресуются к этому «Некто».

В тот момент, когда рождается Человек, его отец обращается к тому углу, где неподвижно стоит Он, со словами: «Боже, благодарю Тебя за то, что ты исполнил мое желание», к Нему обращается Человек с вызовом во втором акте: «Эй, ты, как тебя там зовут: Рок, Дьявол или Жизнь, я бросаю тебе перчатку. . . У тебя каменный лоб, лишенный разума, — бросаю в него раскаленные ядра моей сверкающей мысли».

«Боже, оставь жизнь моему сыну», молится Ему Жена Человека. «Не о милосердии Тебя прошу, не о жалости — только о справедливости», молится Ему сам Человек за своего сына. Следовательно, «Некто в сером» — Божественный Закон.

Но какая же мистическая или научная реальность скрывается под этим зловещим пугалом, называемым Он? Есть ли действительно в мире такой Закон, олицетворением которого может явиться Некто в сером?

«Закон — это энергия существ», говорит Вилье де Лиль-Адан:⁵ «Все трепещет ею. Существовать это значит ослаблять или усиливать закон в себе и с каждым биением осуществлять себя в результате совершенного выбора». Каждый закон божественный, так же как и закон научный, лежит внутри нас и представляет в своей конечной сущности или разоблачение нашего глубочайшего устремления, или разоблачение механизма нашего мышления.

Ту насильственность, которую Леонид Андреев приписывает закону, может иметь только закон государственный.

Но тогда он является не законом, а насилием, принявшим лик закона. Некто в сером по своему положению в жизни Человека является именно представителем насилия, принявшим лик закона. Понятие насильственного государственного закона Леонид Андреев возводит до степени мистического закона, управляющего Вселенной, и преходящий общественный строй России он считает прообразом устройства всего мира. Его космос — это проекция института усиленной охраны в область мировых законов. «Некто в сером» — это не борьба и не закон — это представитель закона, космический жандарм с андерсеновской свечкой жизни в руках.

Такого обожествления, такого абсолютного признания русская отживающая государственность не слышала даже из уст своих наиболее убежденных сторонников. Само собою разумеется, что это недоразумение, так как я нисколько не сомневаюсь в свободолюбии и Леонида Андреева и его почитателей. Но недоразумение очень знаменательное, показывающее, какое рабское сознание воспитано русским государственным строем и как бессознательно живет оно, неведомое для самих его носителей, и затемняет и предательски запутывает их отвлеченную мысль, когда та пытается познать глубинные основы жизни.

Я был бы склонен принять «Жизнь Человека» за резкую и безжалостную пародию, направленную против русских революционеров, если бы «Некто в сером» не являлся ключом ко всей серии последних произведений

Леонида Андреева, в которых звучит такая неподдельная интонация ужаса его слепой и страдающей души.

При чтении «Елеазара» неотступно является один вопрос, который помимо воли автора заслоняет собою весь остальной смысл повести: «Кто же тот, кто воскресил Елеазара? Кто *Он*, кто решился устроить такое дьявольское издевательство над человеческой душой?».

Внутреннее чувство отказывалось назвать имя Христа, которое, ни разу не произнесенное автором, этим самым настоятельно возвращалось на уста и требовало быть произнесенным. Это умолчание имени воскресителя придавало особую значительность всем описанным психологическим явлениям. Теперь, после того как Леонид Андреев разоблачил в «Жизни Человека» всю основную механику жизни, совершенно ясно, что воскресил Елеазара из мертвых *Он* — Некто в сером. Он задул свечу, а потом, когда Елеазар успел сгнить, снова зажег ее. *Он* — Некто в сером посвятил Елеазара в свои тайны, т. е. снял с его глаз «ограниченность зрения», с его мысли «ограниченность знания», ту «ограниченность знания», которая характеризуется классической фразой: «Уже кончились ступени жизни, и черный провал на месте их, но все еще тянется вперед дрожащая нога».

Каждый дает Богу то имя, которое соответствует степени его посвящения в тайны устройства Вселенной.

Скажи мне имя твоего Бога и я узнаю степень твоего самопознания. Имя Божье это тот пароль, который спрашивает Смерть у проходящего в мир. Леонид Андреев отвечает: «Имя, которое я даю Богу, — „Некто в сером“».

Христос Леонида Андреева это «Некто в сером». Некто в сером издевается над страстной верой Василия Фивейского, Некто в сером воскрешает Елеазара, Некто в сером — тот Христос-манекен, который является в последнем рассказе Андреева «Иуда и др.».

Для искусства нет ничего более благодарного и ответственного, чем евангельские темы.

Каково бы ни было отношение к Евангелию как к книге человеческой или к книге божественной, евангельский рассказ незыблемыми кристаллами лежит в душе каждого. Язык нашего морального чувства возник из Евангелия, и каждое евангельское имя, каждый евангельский эпизод, каждая евангельская притча стали гранями нашей души. Поэтому каждое евангельское слово — символ для нас, ибо символом мы называем то слово, которое служит ключом от целой области духа.

Та эпоха европейского искусства, когда оно было ограничено исключительно евангельскими темами, была для него эпохой наивысшего расцвета. Только имея под собой твердую основу во всенародном мифе, художник может достичь передачи тончайших оттенков своего чувства и своей мысли.

И в наше время наиболее утонченные мастера возвращаются к евангельским темам. Примером могут служить такие рассказы, как «Протектор Иудей» Анатоля Франса⁶ и «Евангельские притчи» Оскара Уайльда.

Каждый евангельский эпизод и каждый характер являются для нас как бы алгебраическими формулами, в которых все части так глубоко связаны между собой, что малейшее изменение в соотношении их в итоге равняется космическому перевороту. Поэтому, когда художник вводит свое живое «я» в законченные кристаллы евангельского рассказа, то индивидуальность его сказывается с такой полнотой и четкостью, с какой не может сказаться ни в какой иной области.

Леонида Андреева никак нельзя отнести к художникам утонченным, но в рассказе «Иуда» его нетонкость перешла все дозволенные границы.

Трактую характеры Христа и апостолов с психопатологической стороны, вставляя совершенно произвольно бытовые эпизоды вроде атлетического состязания апостолов в бросании камней с горы, делая из апостола Фомы карикатурного немецкого профессора по «*Fliegende Blätter*»,⁷ из Иоанна — самодовольного интригана, из Матфея тупого доктринера, изрекающего цитаты из св. писания, заставляя Иуду говорить языком рассказчика еврейских анекдотов, Леонид Андреев создает, и притом (что хуже всего) без всякого дурного желания, какое-то «Евангелие наизнанку» в стиле Лео Таксиля.⁸

Такой итог возникает совершенно помимо его планов, только от отсутствия чувства художественной меры.

Мысль читателя, в которой строго запечатлена гармония евангельских величин, поминутно проваливается в какие-то пустоты, которые в сущности являются невинными, но неуместными изобретениями беллетристической фантазии автора. Кощунственность «Иуды» художественная, а не религиозная.

Христа в этом рассказе Леонид Андреев изображает красивым и очень сентиментальным молодым человеком, в стиле поленовского Христа на Генисаретском озере.⁹ Он корректен и бесцветен. Он нарисован плоскими и условными чертами по канону передвижников, как необходимая декоративная деталь евангельской картины. Но Его Лица, Его веянья нет. На месте Христа среди апостолов стоит безразлично добрый человек. Оскар Уайльд в своих притчах делает несравненно более дерзкие выпады против Христа, чем Л. Андреев. Стоит вспомнить только ту притчу, в которой Иосиф Аримафейский, спускаясь с Голгофы, видит плачущего юношу и начинает утешать его.

«Разве я плачу о том Человеке? — с негодованием отвечает юноша: — но ведь я тоже провел сорок дней в пустыне, я тоже воскрешал умерших и исцелял прокаженных. . . И они меня не распяли!».

Или другого плачущего юношу, который отвечает на утешение самого Христа: «Не Ты ли воскресил меня из мертвых? Что же мне еще делать на земле?».¹⁰

Но эта вдохновенная дерзость богоборства однако вовсе не производит того впечатления кощунства, что рассказ Леонида Андреева, потому что внутреннее равновесие Евангелия не нарушено, потому что Христос Оскара Уайльда — Христос, а не пустое место, не «Некто в сером».

Конечно, героем рассказа Андреева является не Христос, а Иуда. Вместо того чтобы вступать в подробный разбор той сложной психологии,

которую наделен Иуда, я сделаю небольшое историческое отступление.

В представлении христианского мира существуют два Иуды Искарюта: Иуда Предатель, продавший Христа за 30 сребреников, символ всего безобразного, подлого и преступного в человечестве, Иуда-Чудовище и телом и духом. Таков Иуда ортодоксального церковного предания, запечатленный и в каноническом Евангелии.

И совершенно иной Иуда, сохраненный христианскими еретиками первых веков, этими хранителями эзотерических учений церкви.

Иуда, сохранившийся в учениях офитов, каинитов и манихеев,¹¹ является самым высоким, самым сильным и самым посвященным из учеников Христа. Так как принесение Христа в жертву требует, чтобы рука первосвященника была тверда и чиста, то только самый посвященный из апостолов может принять на себя бремя заклания — предательство. Этому апостолу Христос передает свою силу — кусок хлеба, омоченный в соль, — причастие Иудино.

Этот образ человека, достигшего высшей чистоты и святости, который добровольно принимает на свою душу постыдное преступление, как подвиг высшего смирения, возник еще в Индии.

В индусских поэмах, посвященных жизни и учению Кришны, Иудой является его величайший ученик царевич Арджуна — герой Махабхараты и Багават-Гиты.¹² Кришна сам проводит его через целый ряд испытаний, заставляя его сражаться против его друзей, наставников и предков, заставляя его предательски убить божественного старца Бхишму — главу его рода — из-за спины женщины, умертвить его наставника Дрону и т. д., и, наконец, требует, чтобы он предал его самого, Кришну-Христа людям, преследующим его.

И Арджуна сам привязывает Кришну к дереву и первый пускает в него стрелу.

Тогда наступает последнее испытание Арджуны. Для Арджуны уготовано первое место на небе, которое он заслужил своей святостью, но если он согласится спуститься в ад и остаться там до скончания века, то Кришна изведет оттуда всех, томящихся там.

Арджуна спускается в ад, освобождает всех грешников и сам остается в аду.

Таким образом учение об Агнце, принимающем на себя грехи мира, переносится на Иуду-Арджуну как на истинное козлице отпущения вселивской очистительной жертвы.

Если с этой точки зрения посмотреть на Иуду, то становится вполне понятным и традиционный церковный взгляд на Иуду. Так, для того чтобы Иудина жертва была полна, она должна быть безвестной, она должна быть запечатлена как преступление в самом Евангелии, чтобы миллионы людей из рода в род проклинали Иуду.

Нравственная проблема, скрытая в личности Иуды, особенно близка нашему времени. Разве не тот же вопрос о принятии на себя исторического греха подвигом предательства стоит и перед революционерами-

террористами, и перед убийцами из Союза русского народа, и перед всеми совершающими кровавые расправы этого времени.

Если есть такой вопрос, который можно считать главным моральным вопросом нашего времени, то это вопрос об Иуде.

Леонид Андреев не понял этого, подходя к великой моральной теме. Он принял традиционного Иуду церковного предания и дал его предательству одно из возможных психологических объяснений.

Правда, иногда у него вдруг прорываются как будто какие-то прозрения относительно истинного значения Иуды, например, когда Иуда отвечает Иоанну и Петру, обратившимся к нему за разрешением их спора о первенстве (! . .): «Я! — Я буду ближе всех к Христу». Но этих прозрений Леонид Андреев сам не замечает и не следует их указаниям.

Для него очень характерно то, что он всегда выбирает себе тему, действительно важную и имеющую глубокое значение для исторического момента духа, но никогда не умеет раскрыть ее до конца.

Он всегда входит в ту дверь, в которую надо, но не идет дальше прихожей. И пророческим жестом указывая на грязную лакейскую, он восклицает потрясенный: «И это Святая Святых Великого Храма!».

В свои слова он вкладывает столько иступленного чувства и в описание того, что действительно представляется его взглядам, столько реализма, что наивные души не могут не верить ему.

В заключение я позволю себе, обращаясь лично к Леониду Андрееву, привести ряд мыслей Вилье де Лиль-Адана из его гениальной трагедии «Аксель». Они дают ответ именно на те вопросы, которые так мучают автора «Жизни Человека» и кажутся ему такими неразрешимыми:

«Ты — только то, что ты мыслишь: мысли же себя вечным. Разве не чувствуешь ты, что твоя непогибающая сущность сияет по ту сторону всех сомнений, по ту сторону всех ночей? Будь цветком самого себя. Будь подобен лавине, которая есть только то, что она уносит с собой.

. . . Ты выходишь из незапамятного. И вот ты воплощен в одежде плоти, в темницу относительного. Привлекаемый магнитами желания — первичным притяжением, ты уплотняешь охватившие тебя узы, когда уступаешь им. Ощущение, ласкающее дух твой, превращает твои нервы в свинцовые цепи. Каждый раз как ты любишь — ты умираешь.

. . . Индивидуальность твоя — это долг, который ты должен уплатить до последнего волокна, до последнего ощущения, если ты хочешь обрести самого себя в неизмеримой нищете грядущего (*si tu veux te gagner sur l'immense misère de Devenir*).

. . . Мир никогда не будет иметь для тебя иного смысла, кроме того, который ты сам даешь ему. Расти же под покровами мира, просветляя его тем высшим смыслом, в котором мы сами найдем свое освобождение! Не умаляй себя сам, подчиняясь рабским чувствам, которыми он оцупывает и сковывает тебя. И так как никогда не сможешь ты стать вне той иллюзии, которую ты сам себе создаешь о вселенной, то избери наиболее божественную». ¹³